

УДК 82  
DOI 10.17223/18137083/74/7

**«Крымские записки. 1916–1921» С. Шиль:  
трагедия места в автодокументальном воспроизведении**

**Е. Н. Проскурина**

*Институт филологии СО РАН  
Новосибирск, Россия*

*Аннотация*

Впервые представлен анализ «Крымских записок» С. Шиль, созданных в 1921 г. И текст, и его автор являются малоизвестными современному читателю. Выявляется структура авторского голоса и объединяющая его модусы творческая задача, заключающаяся в стремлении к документальности излагаемых событий. При этом в качестве участника и наблюдателя Шиль бывает субъективна в оценках, тогда как в качестве свидетеля придерживается беспристрастной точки зрения. Малая дистанция между событиями и их описанием накладывает свои особенности на авторскую позицию, не давая возможности сформироваться «историческому зрению», лишь в редкие моменты проявляющему себя в тексте. Однако приведенный в записках фактический материал – новое приложение к уже имеющемуся автодокументальному корпусу произведений о Крыме периода революции и русского исхода, что представляет несомненную ценность.

*Ключевые слова*

С. Шиль, «Крымские записки», русский исход из Крыма, крымский текст, автодокументальный дискурс, литература и документ

*Для цитирования*

Проскурина Е. Н. «Крымские записки. 1916–1921» С. Шиль: трагедия места в автодокументальном воспроизведении // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 96–108. DOI 10.17223/18137083/74/7

**“Crimean Notes. 1916–1921” by S. N. Shil:  
Tragedy of place in auto-documentary reproduction**

**E. N. Proskurina**

*Institute of Philology SB RAS  
Novosibirsk, Russian Federation*

*Abstract*

For the first time, the paper presents the analysis of the “Crimean Notes” written by S. Shil in 1921. The text itself and its author are not well known to the modern reader. The study reveals the structure of the author’s voice, with the participant, observer, and witness modes being distinguished. The function of each mode and the unifying creative task, i. e., the author’s

© Е. Н. Проскурина, 2021

ISSN 1813-7083  
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1  
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

desire to document the facts presented, are determined. As a participant and observer, Shil is quite subjective in her assessments of real circumstances, while as a witness, an eyewitness to an event, she adheres to an impartial assessment. The paper demonstrates the difference between female auto-documentary and S. Shil's notes that show the absence of emotional saturation, imaginary rather than real facts and impressions. The features of the memoirist's perception of the revolutionary events in Crimea, as well as the Russian exodus, are analyzed. Shil's changing position in relation to the revolution – from joyful hopes to disappointments – is demonstrated. The small distance between the events that took place and their description, the absence of a time gap between life and the text influence the author's position. This distance deficit prevents the formation of the author's "historical vision," showing itself only very rarely in the text. However, of obvious value is the factual material given in the notes is a new addition to the already available auto-documentary corpus of works about the Crimea during the revolution and the Russian exodus.

*Keywords*

S. Shil, "Crimean Notes", Russian exodus from Crimea, Crimean text, auto-documentary discourse, literature and document

*For citation*

Proskurina E. N. "Crimean Notes. 1916–1921" by S. N. Shil: Tragedy of place in auto-documentary reproduction. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 96–108. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/7

Последние годы отмечены повышенным интересом к эгословесности. Активизация этого многожанрового направления отечественной словесной культуры повлекла за собой ряд издательских инициатив, среди которых хочется выделить серию «От первого лица: история России в воспоминаниях, дневниках, письмах», реализуемую московским издательством «Новый хронограф». В рамках этой серии опубликовано множество неизвестных материалов, открыт не один десяток новых авторов-мемуаристов, к числу которых принадлежит София Николаевна Шиль (1863–1928). Хотя назвать ее новым автором не вполне корректно: в начале ушедшего века она публиковала свои произведения (художественные, научно-публицистические) под псевдонимом Сергей Орловский. Так, в издательстве «Сытин» были опубликованы «История Мурочки» (1904) и «Певец-изгнанник. Исторический роман» (1913), в издательстве «Просвещение» – «Родные и чужие были» (1912); последней по дате стала книга «Русские писатели – апостолы свободы», вышедшая в московском издательстве «Задруга» в 1917 г. Можно сказать, что имя Сергея Орловского оказалось к настоящему времени прочно забытым. Попытка переоткрытия принадлежит издательству РГГУ, в 2017 г. выпустившему однотомник сочинений, куда вошли мемуары, письма, переводы, стихотворения. Сборник надписан двойным авторством: Сергей Орловский (С. Н. Шиль). В пятом номере «Нового литературного обозрения» за 2018 г. опубликована рецензия М. В. Михайловой на эту книгу. В ней, в частности, отмечено, что с появлением сборника сочинений «стало ясно, что мы пропустили интересного мемуариста, переводчика, автора стихов, не укладывающихся в наше представление о поэтической культуре начала XX столетия. Собранные в томе материалы показывают, сколь значимо, хотя и мало заметно, было ее присутствие в литературном процессе первых трех десятилетий XX в. Она относилась к числу тех литературных деятелей, которые по тем или иным причинам оказались на обочине литературной жизни, которым не удалось влиться в ее главное русло (да они и не очень стремились к этому, согласившись с занимаемым местом и не ропща на судьбу). Но без

них представление о русской литературе будет далеко не полным» [Михайлова, 2018]. В том же 2018 г. в седьмом номере журнала «Литературный факт» представлена обстоятельная биография Шиль, показывающая ее активным участником литературной жизни рубежа XIX–XX вв. Восполняют биографию, а также представление о личности и творчестве писательницы «Крымские записки», относящиеся к переломному периоду отечественной истории XX в. Впервые они увидели свет лишь в 2018 г., значимом для восстановления памяти о С. Шиль. Этот текст, подписанный собственным именем автора, создавался вскоре после ее возвращения в Москву в 1921 г., предположительно «на основе черновых ежедневных заметок, какие обычно ведут писатели» [Афанасьев, 2018, с. 10]. Воспоминания разделены на две части: «Феодосия. Сентябрь 1916 – июль 1918 г.» и «Севастополь. Июль 1918 – май 1921 г.». Первая, феодосийская, часть состоит из трех тетрадей. В целом повествование в записках соответствует историко-биографическому линейному разворачиванию событий в их календарной последовательности.

Отъезд из Москвы на полуостров осенью 1916 г. в записках объяснен очень неопределенно: «из-за уже обозначившейся разрухи в Москве» [Шиль, 2018, с. 18]<sup>1</sup>. При этом Шиль указывает на только что перенесенное воспаление легких. Вероятно, в Крым, с его благоприятным климатом, она ехала как в здравницу, где у нее, однако, не было ни жилья, ни знакомых. Прожив на полуострове пять лет, Шиль не оставляет надежды на возвращение в Москву, осознавая при этом, что возвращаться ей некуда: родительский дом к тому времени продан, а деньги, вырученные за него, пропали в революционной неразберихе. Вернуться в Москву ей действительно удалось в 1921 г., однако, как показывают написанные в этот период письма и мемуары, жизнь в советской столице оказалась еще более сложной, чем в Крыму.

В «Крымских записках» можно выделить три ипостаси авторского голоса: участника, наблюдателя и свидетеля – как одного из модусов наблюдателя. Все они объединены единой позицией, заключающейся в стремлении к документальности. Частная жизнь, бытовая повседневность мемуаристки отступает на второй план, подсвечивая, детализируя социально-исторические перемены, происходившие в Крыму в революционный период. Это выделяет дискурс Шиль из среды женской эгословесности, отличающейся эмоциональной насыщенностью и большой долей воображения. Еще одно важное отличие – отсутствие авторефлексии, погруженности в процесс размышления о собственных переживаниях. Центральное место в записках принадлежит освещению меняющейся жизни. При этом в качестве участника и наблюдателя Шиль бывает довольно субъективна в своих оценках, тогда как в качестве свидетеля в значении очевидца события придерживается беспристрастной оценки. В такой позиции, в большей степени характерной для мужской автодокументалистики, проявляется свойство личности мемуаристки – не случайно для своего творческого псевдонима она выбрала мужской криптоним.

Уже на первых страницах записок Шиль предстает деятельным человеком, в котором энергия противится возрасту: в 1916 г. ей 53 года, и она часто говорит о себе как о «старой женщине». Но сильный характер, воля к жизни дают ей возможность пережить невзгоды двух революций 1917 г., Гражданской войны, бездомья, голода. Показательно в плане характеристики мемуаристки, что с самого

---

<sup>1</sup> Далее цитаты из текста приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.

начала своего появления в Феодосии она пытается вступить в противоборство с образом жизни насельников города, представляющимся ей сонным и обывательским, что особенно остро воспринимается ею после активного существования в Москве. Это впечатление не вызывает сомнений в подлинности, поскольку «страшно напряженная» атмосфера Первой мировой войны не могла не отразиться на уныло-тревожной обстановке города: «Безотрадность была как бы основной нотой во всех картинах и звуках жизни, несмотря на праздничный блеск южного сентября. Казалось, что есть какое-то горькое противоречие между яркостью лазурного моря и этим торжественным ликованием неба – и той нудной скудостью и подавленностью, какая била в глаза на улицах» (с. 19).

Авторская грань участника событий реализуется в записках через множество инициатив, предпринятых Шиль с целью активизировать литературно-просветительскую жизнь в Феодосии. Однако все ее начинания, как в предреволюционный период, так и в революционное время: лекции в литературно-художественном клубе при городской гимназии, устройство воскресного клуба юношества при организованном по инициативе М. Волошина и А. Новинского литературно-художественном обществе «Киммерика», лекции по русской классической литературе и др. – носят временный характер. Это отражало «реальность настоящего», в которой сквозило предчувствие «начала конца» (с. 29) прежней жизни. Гражданская война лишь усилила ощущение непостоянства, в котором, однако, выделяется ситуация *возвращения*. Со сменой власти, переходившей в Крыму из рук в руки девять раз, воспроизводится одна и та же картина разграбления города при уходе «красных», «белых», а также немецких оккупантов. Однако представленная в континуальном освещении она с документальной точностью демонстрирует динамику оскудения жизни, нарастания хаоса. Момент ухода каждой из властей обозначен в тексте повторяющимся мотивом «ничейности»: «Город вдруг стал ничей, и мы все, его жители, точно беспомощные младенцы, которые нуждаются еще в няньке и ждут ее» (с. 82), а приход новой власти связан с ожиданием восстановления порядка, вскоре показывающим свою иллюзорность. Очередной виток смены власти отражен в тексте со все более нарастающим драматизмом. Воспоминания с особым нажимом акцентируют катастрофическое удорожание жизни под напором усиливающейся разрухи. Сохраняющаяся дешевизна продуктов в период Первой мировой войны к концу Гражданской оборачивается дороговизной такого уровня, который грозит тотальным голодом. Сонное прозябание края чем дальше, тем больше преобразуется в адский водоворот, достигший своего дна на этапе «красного террора». К этому времени Шиль уже переезжает в Севастополь – в поисках средств к существованию. Однако здесь она сталкивается с еще большей нищетой: единственным пропитанием ей служит черный хлеб с травяными примесями и жидкая похлебка из проса. Существенным ударом стал запрет советскими властями на ловлю мелкой дешевой рыбки самсы, до их прихода хоть как-то скрашивавшей скудный бедняцкий стол.

Усиливает чувство безысходности постоянно ощущаемое мемуаристкой одиночество, которое ей не удается преодолеть даже в периоды востребованности в качестве лектора или организатора литературных кружков: сильный характер и независимая позиция, нежелание подыгрывать «мещанским» вкусам слушателей создают ей репутацию «гордячки». Но и среди феодосийской интеллигенции она не находит близких себе по духу людей, видя в них не более чем представителей «буржуазии», к которой испытывает брезгливость. В этом проявился крайний субъективизм ее внутренней позиции, определяющийся политическими взгляда-

ми, близкими народническим. Вот как, например, изображен ею В. П. Цераский (1849–1925), известный астроном, член-корреспондент Петербургской Академии наук: «Среди буржуазии Феодосии у меня было знакомое семейство отставного московского профессора Цераского. Там я чувствовала ту тайную враждебность к перевороту (речь идет о Февральской революции. – *Е. П.*), которая, должно быть, повсеместно царила в те дни в буржуазных слоях... Радости не было и следа, зато много опасений касательно личной судьбы... Плесенью, затхлостью веяло от таких семей» (с. 46–47). И сам Крым на всем протяжении повествования предстает чужим в глазах мемуаристки. Это касается не только Феодосии, но и Коктебеля, Севастополя. Хотя наибольшую неприязнь в ней вызывает Феодосия: в облике города она видит лишь «безлепицу и безвкусию». Даже личность Айвазовского связана для нее не со знаменитой галереей и не с благотворительными инициативами художника, среди которых одной из главных было обеспечение феодосийцев питьевой водой, а с неудачным, по ее мнению, расположением железной дороги: «Культ Айвазовского. Устроенная им, или вернее, изуродованная им набережная прекраснейшего залива – рельсы по самому берегу за каменной оградой, лишившие жителей естественной прелести и красоты свободного взморья» (с. 24). Это единственное упоминание в записках имени великого мариниста. С не меньшей иронией описываются расположенные вдоль берега дачные особняки меценатов города: «Вдоль этого уродства красовались дворцы и дачи местных табачных и винных магнатов, евреев и караимов. Издали эта линия зданий, полукругом изгибая прибрежную улицу, казалась интересной и напоминающей Европу. Но стоило только поближе всмотреться в эти здания, как неотразимо начинала выступать не культура, а жалкое подобие культуры» (с. 24). Речь идет о наиболее известных достопримечательностях Феодосии начала XX в. – даче Милос, построенной в 1911 г. архитектором Н. Ф. Пискуновым в неоклассическом стиле, и даче Стамболи, построенной в 1909–1914 гг. в испано-мавританском стиле и являющейся в настоящее время памятником культурного наследия. Однако в глазах Шиль оба архитектурных ансамбля выглядят как сооружения «не Медичи». Но и остатки древнего города не останавливают на себе ее взор, хотя она снимает жилье рядом с Карантином и Генуэзской крепостью. Лишь находки во множестве зарытых античных черепков оказываются для нее наиболее ценными: «Так жалка была эта Феодосия в ее настоящем, живя на развалинах своего великого европейского прошлого. Между тем стоило только взрыть землю для фундамента стройки, как земля дарила драгоценные обломки генуэзской и греческой эпох. Но то поколение, которое ело, плодилось и множилось в древней Кафе в начале 20-го века, в мещанстве своем вовсе не интересовалось былым; но сытно, богато и тупо жило и множило свои капиталы, даже не чувствуя духовной своей нищеты» (с. 26–27).

Для сравнения отметим, что совсем по-иному, «кусочком Константинополя», «маленьким раем» увидели Феодосию Марина и Анастасия Цветаевы в свои приезды в Крым периода 1911–1914 гг. «Феодосия предвоенных лет! Та, через фиту! Еще в памяти Каффа, еще наполовину “Ардава”. Полная уютных семейств, дружеских праздничных сборищ, ожидания гостей, наивного восхищения талантом, готовая с первого взгляда на юный эскиз, с первого звука смычка, с первой строфы стихов венчать дерзновенного – словно Перикла народ, словно Капитолий Коринну. <...> Это маленький рай? Мы не ошиблись, выбрав Феодосию» [Цветаева, 1983, с. 505]; «...это сказка из Гауфа, кусочек Константинополя <...> И мы поняли – Марина и я, – что Феодосия – в о л ш е б н ы й город и что мы полюбили

его *на в с е г д а*» (выделено автором. – *Е. П.*) [Цветаева, 1983, с. 389]. Представление сестер Цветаевых о Феодосии как о земном рае расширяет райский локус Крыма за пределы его южной части, еще со времени присоединения полуострова к России связываемой европейскими путешественниками со сказками «Тысячи и одной ночи» (см.: [Храпунов, 2014]).

Хотя справедливости ради нельзя не отметить, что критическое отношение автора записок к облику Феодосии, выламываясь из сложившейся мемуарной традиции, совпадает с восприятием «русского» Крыма М. Волошиным, увидевшего в нем реализацию амбициозного Екатерининского имперского проекта: «Древняя Готия от Балаклавы до Алустана застроилась непристойными императорскими виллами в стиле железнодорожных буфетов и публичных домов и отелями в стиле императорских дворцов. Этот музей дурного вкуса, претендующий на соперничество с международными европейскими вертепами на Ривьере, очевидно, так и останется в Крыму единственным монументальным памятником “Русской эпохи”» [Волошин, 1990, с. 216]. Боль от утраченной Крымом самобытности отражена в поэтическом образе любимого поэтом Коктебеля: «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...» [Там же, с. 20], оказав также влияние на название стихотворного цикла «Киммерийские сумерки» (в данном случае мы оставляем за скобками автобиографический контекст названия, связанный с разрывом с Маргаритой Сабашниковой)<sup>2</sup>. Но это единственная точка сближения мемуаристики с певцом древней Киммерии, коктебельский круг которого не вызвал у нее интереса и желания приобщения к «дому поэта», главным назначением которого было «объединять, дарить людей друг другу, протягивать руку, идти навстречу» [Баруткина, 2014, с. 114]. С плохо скрываемой досадой, приправленной иронией, описывает она лекции Волошина в литературно-художественном клубе, видя в нем своего соперника: «Несмотря на щедрые аплодисменты, которыми наградила меня аудитория, читать больше в ту осень мне не пришлось. Приехал из Коктебеля... поэт Волошин, и стал читать лекции раз, иногда два раза в неделю. Помню одну из этих лекций – “О жестоком в искусстве”, – где лектор нагромоздил все ужасы, когда-либо изображенные словом или кистью. Нервы слушателей не вынесли того, что с легкостью переносил сам рассказчик...» (с. 29). С той же иронией обыгрывает Шиль предложенное Волошиным название клуба: «Киммерика», усматривая в этом смехотворность и не понимая тех внутренних побуждений, которыми руководствовался поэт, хранитель памяти об истории Крыма. Насколько дорога тема исторической памяти Волошину, настолько далека она от сознания Шиль, живущей настоящим, заботами меняющегося на ее глазах мира.

Революционный контекст усиливает ее критическое восприятие как самого Волошина, так и его окружения. Обратимся в этой связи к одному из фрагментов записок, который может стать показательным в том отношении, что в первые десятилетия XX в. Шиль «оказалась на обочине литературной жизни» и ей «не удалось влиться в ее главное русло» (М. Михайлова). Несмотря на страх перед октябрьским переворотом, в сознании мемуаристки еще теплится надежда на расцвет «новой России». В свете этой надежды «круг Волошина» она наивно связывает лишь с буржуазной идеей защиты собственности, не осознавая того, что он

---

<sup>2</sup> В своих сожалениях об утраченной самобытности полуострова Волошин был не одинок. Взгляд на Крым как на русский эдем соединялся с описанием удручающих картин ломки традиционного уклада жизни, в первую очередь крымских татар, уже в первые годы присоединения Крыма к России в среде европейских путешественников (см.: [Храпунов, 2014]).

объединяет в себе интереснейших людей, творцов современной культуры: «Это была так уже хорошо знакомая мне по Феодосии буржуазная среда, встретившая революцию 1917 года с недоверием и опаской и теперь жившая тем, что злорадно выбирала из газет самые ужасные вести и спрашивала: “Что, при царях было разве хуже?”... Принять факт революции люди эти не могли, потому что все были собственники, а она их била по карману и лишала привычного удобства и раздолья жизни. Уже среди ненависти ко всему революционному загоралась надежда, что вот-вот скоро придет конец и наступит монархическое возрождение...» (с. 90). Этот фрагмент вполне мог бы вписаться в советский учебник по литературе. Можно сказать, что мимо жизни Шиль прошли большие личности Серебряного века, лекции о котором она читала в феодосийском литературном клубе. «Чистая эстетика», вскользь отмеченная ею в поэзии Волошина, никак не сочеталась в ее сознании с широтой его природы, но больше всего – с неприятием революционного переворота, весь трагизм которого она осознает лишь годами позже. В приведенных оценках можно увидеть, как эго автора, находящегося в позиции наблюдателя, искажает сами объекты наблюдения.

Из сказанного выше становится понятен тот восторг, с каким в феврале 1917 г. Шиль встречает известие о «буржуазно-демократической революции», о готовящемся созыве Учредительного собрания. В предчувствии новизны жизни она с энтузиазмом берется читать в расположенной в районе Карантина солдатской казарме лекции по избирательному праву. При знакомстве со своими слушателями – простыми солдатами, она, с одной стороны, отмечает их необразованность, с другой – простодушие и жажду знаний. Описывая свои посещения казармы, Шиль показывает, как меняется восприятие и ее самой, и предмета ее лекции: «Солдаты сначала смотрели на седую женщину со смешком и лениво, но под конец так разгорелись и глаза, и сердца, и уже искренно просили приходить каждый день и все им объяснять, потому что они, по их словам, ничего не понимали, отчего все пошло по-новому, а войне конца нет... Уже издали артиллеристы замечали, как я спускаюсь из виноградника в ложбину между гор и начинаю взбираться к казарме, и созывали товарищей. Будили спящих, мели пол и запирали злую собаку. Потом я ораторствовала... Достала... в подарок моим солдатам большую классную карту Европы; с какой любовью искали достаточно хорошего места для нее, – и как усердно прибавляли! – и после рассказов о политике и свободе просто-напросто учила их географии, которая оказалась для всех необыкновенно любопытной, неслыханной!» (с. 56). Эта зарисовка с природы служит яркой иллюстрацией быта и уровня просвещения в рядовой солдатской среде.

В этой части записок наибольшую частотность приобретают мотивы надежды и свободы как отражение разлитой в воздухе радостной атмосферы: «В Карантине сентябрь прошел как один сияющий праздник. Со скамеек на горе открывался залив и его выход к морю. То и дело появлялись корабли, конечно, военные; они гордо несли на верхней мачте красный флаг свободы. И хотя на этот флаг уже брызнула кровь кронштадтских убийств, но все же он был символом не кровавым, а святым, и сердце всколыхалось каждый раз, когда на лазури неба мерцал алый лоскутик... Война была где-то далеко-далеко, а здесь как будто налаживалась наша русская свобода» (с. 59). Однако это состояние вскоре сменяется «величайшим страхом смертельной тревогой и неизвестностью» (с. 62): «Томительно было жить, дышать. Вместо газет – скудные лоскутки, обрывочные слова, грозные скрытым своим содержанием. Так достигли до феодосийского захолустья смутные вести о победе большевиков в Петрограде, о движении большевистских войск

на Москву. Помню, в темный вечер пробиралась я домой из города в дальний Карантин, прочитав в телеграмме о восстании и боях в Москве, о победе большевиков. Не выдержали нервы, оперлась у какого-то пустыря о забор и горько рыдала над нашей Москвой и Россией» (с. 62). С нарастанием хаоса жизни старый ее уклад представляется мемуаристке спокойным и «культурным», эмблемой чего становятся воскресные заседания литературного кружка, гимназические уроки литературы, Тургеневский вечер 1918 г., посвященный столетнему юбилею русского классика...

Если в период Первой мировой войны просвещение простых солдат приносит Шиль радость: свои беседы она воспринимает как «общение с народной душой» (с. 22), то трехкратный приход к власти большевиков все более развеивает ее представление о наивной «народной душе». Чрезвычайно точно и емко представлена в записках эволюция большевизма как явления – на местном опыте, с акцентом на национальности ведущих кадров: «Только третьи большевики уже не похожи были на вторых, как вторые не похожи на первых. Первые были у нас стихия, в слепоте ищущая приложить свои силы к водворению какого-то нового, небывалого, но все-таки порядка; корявая и темная сила с детскими и вместе зверскими глазами. Вторые большевики пришли с крутыми и грозными декретами... которые надо было помнить наизусть, чтоб не погибнуть. Но они все же строили просвещение из нас, горожан... тут само общество призывалось к участию в создании новых порядков. Третьи большевики пришли уже с отлившейся в твердые формы властью и взяли город в свои руки, не спрашивая, кто к чему годен для них... Большинство были евреи и люди светловолосые латышского типа» (с. 236). Здесь уже видна попытка «исторического зрения», аналитического восприятия трех постреволюционных лет, разрушивших первые романтические иллюзии.

В процессе авторских наблюдений создается все более удручающая картина отрезанной от метрополии жизни, превращения полуострова в информационную «глухомань»: в 1921 г., «после трех лет советской власти» крымчане остаются в неведении, «что же именно произошло там, на Севере... Что представляет собой Совдепия... какова обязательная для всех идеология» (с. 237). Сбивала с толку и новая орфография, не дававшая возможности даже образованному читателю понять смысл текста с первого раза: «Новые советские газеты... казались безграмотными, бумага была серая, печать слепая. Надо было раза три прочесть статью, чтоб ее понять, так сказать, по-русски» (с. 237).

Предельного драматизма исполнены наблюдаемые мемуаристкой картины исхода Белой армии из Севастополя: «...я до самой темноты ходила по улицам, смотрела, что делается в городе. По Большой Морской летали автомобили и грузовики, кого-то давили, кто-то вопил; клади двигались все в одном направлении – к морю. Тесно было от экипажного потока на Нахимовском, будто весь город выезжает куда-то. <...> Но эта изумительная картина какого-то повального движения превращалась... в картину невиданного бегства и суматохи вдоль всей Екатерининской от начала ее до конца у Графской пристани. Это движение продолжалось несколько дней – смотря по тому, сколько пароходов стояло на больших пристанях... Всюду громоздились у воды груды багажа... Всюду около них стояли растерянные люди с такой усталостью на лице, что, кажется, вот упадут и скончаются. Пароходы по длинным сходам принимали в свои недра людские толпы и потом с ревом уходили, но долго еще стояли в море в виду города, неизвестно по какой причине» (с. 222). Причину этого стояния можно выявить из вос-



поминаний командующего войсками Южного фронта П. Н. Врангеля, где приведено сообщение правительства Юга России: «Ввиду объявления эвакуации для желающих офицеров, других служащих и их семейств, правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают приезжающих из пределов России. *Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на рейде и в море.* Кроме того совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных. Правительство Юга России не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем. Все это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосредственной опасности от насилия врага – остаться в Крыму»<sup>3</sup> (курсив мой. – Е. П.).

Среди наблюдений есть щемящая сцена расставания казака со своим конем: «казак рыдал на шее своего коня, прощался с ним, прежде чем пустить на волю и на голодную смерть» (с. 223–224). Здесь Шиль запечатлела ситуацию, которая в более драматическом варианте стала основой лирического сюжета в творчестве казачьего поэта-младоземigrанта Николая Туроверова – поэме «Перекоп» (1925), стихотворении «Уходили мы из Крыма» (1940):

Спешу, мой конь, долиной Качи,  
Свершай последний переход.  
Нет, не один из нас заплачет,  
Грузясь на ждущий пароход,  
Когда с прощальным поцелуем  
Освободим ремни подпруг,  
И, злым предчувствием волнуем,  
Заржет печально верный друг  
[Туроверов, 1965, с. 24];

Уходили мы из Крыма  
Среди дыма и огня;  
Я с кормы все время мимо  
В своего стрелял коня.  
А он плыл, изнемогая,  
За высокою кормой,  
Всё не веря, всё не зная,  
Что прощается со мной.  
Сколько раз одной могилы  
Ожидали мы в бою!  
Конь всё плыл, теряя силы,  
Веря в преданность мою.  
Мой денщик стрелял не мимо –  
Покраснела чуть вода...  
Уходящий берег Крыма  
Я запомнил навсегда  
[Туроверов, 1965, с. 79].

---

<sup>3</sup> Врангель П. Н. Записки. URL: <http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/15.html> (дата обращения 26.01.2021).

Убийство казаком собственного коня перед разлукой оказывается наиболее гуманным поступком в сравнении с его оставлением на крымском берегу: «Потом эти бесхозные лошади бродили по городу несчастные, тощали и стучали мордами в ворота, пока их не ловили живодеры на бойню» (с. 224).

Период ухода Белой армии определен мемуаристкой как «дни дикой кутерьмы», в которые вплетены ее занятия в гимназии, посещение покойницей в поисках умершей приятельницы, лекции о Байроне, пожар на американском складе, грабежи таможни. Правда в эти дни переслаивается слухами и сплетнями. В записках это отражено распространяющимися по Севастополю стойкими пересудами о продаже Врангелем «за сумасшедшие деньги» первых пароходов «богачам», что Шиль подтверждает своим наблюдением «множества автомобилей близ Графской пристани с шикарнейшей публикой еврейского типа... они ехали, как бары» (с. 222). Контрастом этой картины выведено наблюдение за пешими офицерами и старыми генералами, которые «плелись... с малым чемоданчиком в руке» (с. 222). Расценивая свои наблюдения как свидетельства, подтверждающие предательство генерала, мемуаристка делится общей тревогой, «что для военных не хватит мест, что добровольцев всех не посадят» (с. 222). «Помню, я стояла на пристани и смотрела, – читаем ниже, – как толпились и протискивались люди, как женщины держали у своих юбок испуганных и плачущих детей, как ругались носильщики, как скромно протискивалось на палубу измученное фронтовое офицерство» (с. 226). Этим свидетельствам действительно можно найти множество подтверждений в воспоминаниях русских эмигрантов и художественных произведениях. Однако наряду с документальностью наблюдений в текст записок вплетаются авторские домыслы: «Уехали в первую очередь все те, которые околачивались в тылу в севастопольских кафе, которые ораторствовали о преимуществах прежнего кулака. Как всегда, эта накипь жизни спасалась, а для гибели оставались лучшие люди...» (с. 226). Приведем здесь фрагмент из воспоминаний Врангеля, где даны точные сведения о количестве судов и эвакуированных людей: «На 126 судах вывезено было 145 693 человека, не считая судовых команд»<sup>4</sup>. Такое количество судов и число эвакуированных показывают абсурдность утверждения автора записок. В своих воспоминаниях руководивший эвакуацией Врангель пишет, что все желавшие уехать были размещены на кораблях, в чем он видит исполнение собственного долга.

Образ Врангеля выведен в записках Шиль без малейшей авторской симпатии, что, видимо, повлекло за собой череду приведенных догадок. В своем описании она представляет его «долговязым», похожим на Дон Кихота, человеком, который не чувствует ответственности за поражение Белого движения – «как человек, который только машинально исполняет все нужные движения тела для своего спасения, с пустой головой, уже не способной реагировать на ужас гибели» (с. 228). Сравнение Врангеля с Дон Кихотом становится неуместной аналогией, противоречащей общему пафосу высказывания.

Не испытывая сочувствия к Белому движению в целом как способу реставрации монархии в России и вместе с тем не чувствуя расположения к большевикам, мемуаристка находится в состоянии внутреннего распутья. Уход из страшной реальности она находит в творчестве, причем в таком жанре, как сказка, замысел которой обдумывался ею еще в Феодосии: «Все во мне требовало отдыха, передышки; не хватало сил дальше переживать трагедию революции. Истоцилась

---

<sup>4</sup> Врангель П. Н. Записки.

и вера, и надежда, и ум не мог объять всего ужаса нескончаемой гражданской войны, которою пылала наша Россия, как дом, зажженный со всех концов. Какой-то жизненный инстинкт требовал отвлечь внимание на свое, совершенно иное, утешительное, творческое и гармоничное. И я спокойно писала первое и второе действие сказки» (с. 144–145).

Однако реальность не отпускает ее, измучивая голодом («До чего голодал Севастополь, было ужасно» (с. 233)), слабостью, меркнувшим зрением, не дающим возможность читать и писать. Но даже со слабым зрением при тусклой лучине она продолжает свою творческую работу. Помимо сказки и черновых помет для будущих «Крымских записок», Шиль продумывает свою последнюю книгу «Сердце Отчизны», посвященную Москве<sup>5</sup>. В записках она отмечает удрученную атмосферу Севастополя, усилившуюся с уходом последних кораблей и наступившим безвластьем: «Улицы были пусты. Но море еще более опустело. Уже ни единого парохода не стояло у пристаней в бухте. <...> На базаре еще кое-как, хирея, скрипела торговля, но магазины один за другим запирались, словно вся улица вымирала, и город был город мертвых...» (с. 232). Приход красных войск поначалу воспринимается Шиль как избавление из царства мертвых. Сам образ «мирных солдат», разгуливавших по Приморскому бульвару в простых, а не офицерских шинелях, вызывает у нее умиление: «Шли солдаты наши русские – не в куцах лягушачьи-зеленых мундирчиках Добровольческой армии, но в хороших длинных до пят серых солдатских шинелях. И до чего радостно было видеть их, таких знакомых с детства!» (с. 231). Однако буквально через пару страниц добродушное солдатское лицо сменяется на матросскую «морду»: «Он – матрос, коренастый и мордастый, руки в карманах, шагал с развалкой и курил трубку, свернув ее в край рта. Нельзя словами выразить его скотского, сытого, или вернее, пресыщенного выражения! Он был именно пресыщенное человеческое животное – пресыщенное водкой и властью, и женщиной. Рядом с ним мелкими шагами поспешала молодая женщина, над которой он, верно, всю ночь властвовал как скот. Она была стройная и изящная, как барышня из образованного семейства. Лицо у нее было тонкое, выражение лица покорное своей позорной доле» (с. 234). Описание матроса, построенное на резком контрасте с образом его спутницы, становится символическим портретом новой власти как власти насилия и террора.

Трагическим картинам «красного террора» посвящена заключительная часть «Крымских записок». Эмблемой абсурдности творящегося беспредела служит тот реальный факт, что местом регистрации бывших офицеров Белой армии становится городской цирк, а местом расстрела – Максимова дача, усадебная застройка начала XX в. с обширным парком с прудами и малыми формами (беседками, искусственными руинами, мостиками). В этом ландшафтном воплощении идиллической безмятежности пленникам «приказывали рыть могилы и тут же расстреливали. Говорили в ужасе шепотом в городе, что солдаты стреляют зажмурясь, кого убьют, кого ранят. Закапывали в землю еще живых» (с. 239). Дополняет эту картину «красного» хоррора описание «страшных пациентов» психиатрического отделения севастопольской больницы: «Это были люди, сошедшие с ума в тех учреждениях, где их обязанностью было допрашивать, пытать и расстреливать.

---

<sup>5</sup> Рукопись книги сохранилась в Норвежской национальной библиотеке в Осло в архиве Олафа Брока и впервые издана в 2020 г. под знаковым названием: *Шиль С. Сердце Отчизны. Во дни духовного и телесного голодания: Севастополь 1920/IX–1921/II* (М.: Изд-во Сабашниковых, 2020, 164 с.).

Сестра милосердия, ухаживавшая за сумасшедшими, рассказывала, что этих людей преследуют страшные кошмары пыток, что они опрометью бросаются к ней и умоляют ее увести их подальше. Но им спастись было некуда, эти видения родил их мозг, не вынесший ужасов» (с. 255)<sup>6</sup>.

Последние страницы «Крымских записок» звучат повторением пройденного: обывательская севастопольская жизнь при новой власти словно дублирует феодосийский дореволюционный быт. Работа в гимназии не приносит удовлетворения по причине низкого уровня самого учебного заведения, мемуаристку отталкивают «мещанские» настроения «и учениц, и преподавателей», их «леность ума и души» в условиях стремительно меняющейся жизни. Не видя впереди ничего лучшего, Шиль все свои усилия направляет на возвращение в Москву, куда ей чудом удается получить командировку, ставшую для нее путем в один конец.

В завершающей фразе своих записок автор называет их «наивными крымскими размышлениями», что во многом оправдано малой дистанцией между произошедшими событиями и их описанием. Отсутствие временного промежутка не дает возможности сформироваться «историческому зрению», лишь в редкие моменты проявляющему себя в тексте. Однако приведенный в них фактический материал – новое приложение к уже имеющемуся автодокументальному корпусу произведений о Крыме периода революции и русского исхода, что включает в себе несомненную ценность. Вместе с тем авторская позиция в записках существенно дополняет складывающиеся представления о С. Н. Шиль как о человеке и творческой личности.

#### Список литературы

*Афанасьев А. К.* С. Н. Шиль и ее «Крымские записки» // Шиль С. Н. Крымские записки. 1916–1921. М.: Новый хронограф, 2018. С. 8–16.

*Баруткина М. О.* Гений места: Максимилиан Волошин и Киммерия // Изв. УрФУ. Серия: Гуманитарные науки, 2014. Т. 16, № 3 (130). С. 114–121.

*Волошин М.* Коктебелские берега: Стихи, рисунки, акварели, статьи. Симферополь: Таврия, 1990. 248 с.

*Врангель П. Н.* Записки. URL: <http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/15.html> (дата обращения 26.01.2021).

*Зазубрин В.* Заметки о ремесле // Зазубрин В. Общежитие. Новосибирск: Новосибир. кн. изд-во, 1990. С. 370–387.

*Михайлова М. Н.* Софья Николаевна Шиль – литератор, мемуарист, литературовед // Новое литературное обозрение. 2018. № 5. URL: [https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe\\_literaturnoe\\_obozrenie/153/article/20192/](https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/article/20192/) (дата обращения 25.12.2020).

*Турочеров Н.* Стихи. Книга пятая. Париж, 1965. 221 с.

*Храпунов Н. И.* Алушта как «крымский рай» в описаниях XVIII–XIX веков // Изв. УрФУ. Серия: Гуманитарные науки, 2014. Т. 16, № 3 (130). С. 58–68.

*Цветаева А. И.* Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1983. 768 с.

*Шиль С. Н.* Крымские записки. 1916–1921. М.: Новый хронограф, 2018. 288 с.

*Шиль С.* Сердце Отчизны. Во дни духовного и телесного голодания: Севастополь 1920/IX–1921/II. М.: Изд-во Сабашниковых, 2020. 164 с.

---

<sup>6</sup> Показательным штрихом к этому эпизоду может стать свидетельство сибирского писателя В. Зазубрина, автора повести о чекистских застенках «Щепка», о том, что прообразы своих героев он искал именно в психиатрической больнице [Зазубрин, 1990, с. 376].

## References

- Afanasev A. K. S. N. Shil' i ee "Krymskie zapiski" [Shil and her "Crimean Notes"]. In: Shil' S. N. *Krymskie zapiski. 1916–1921* [Crimean Notes. 1916–1921]. Moscow, Novyy khronograf, 2018, pp. 8–16.
- Barutkina M. O. Geniy mesta: Maksimilian Voloshin i Kimmeriya [Genius of place: Maximilian Voloshin and Kimmeria]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts*. 2014, vol. 16, no. 3 (130), pp. 114–121.
- Khrapunov N. I. Alushta kak "krymskiy ray" v opisaniyakh 18–19 vekov [Alushta as a "Crimean paradise" in the descriptions of the 18–19th centuries]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts*. 2014, vol. 16, no. 3 (130), pp. 58–68.
- Mikhaylova M. N. Sof'ya Nikolaevna Shil' – literator, memuarist, literaturoved [Sofya Nikolayevna Shil – literary scholar, memoirist, literary critic]. *New Literary Observer*. 2018, no. 5. URL: [https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe\\_literaturnoe\\_obozrenie/153/article/20192/](https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/article/20192/) (accessed: 25.12.2020).
- Shil' S. N. *Krymskie zapiski 1916–1921* [Crimean Notes. 1916–1921]. Moscow, Novyy khronograf, 2018, 288 p.
- Shil' S. *Serdtshe Otchizny. Vo dni dukhovnogo i telesnogo golodaniya: Sevastopol' 1920/IX–1921/II* [The heart of the Fatherland. In the days of spiritual and bodily hunger: Sevastopol 1920/IX–1921/II]. Moscow, Sabashnikovy Publ., 2020, 164 p.
- Turoverov N. *Stikhi. Kniga pyataya* [Poems. Book 5]. Paris, 1965, 221 p.
- Tsvetaeva A. I. *Vospominaniya* [Memories]. Moscow, Sov. pisatel', 1983, 768 p.
- Voloshin M. *Koktebel'skie berega: Stikhi, risunki, akvareli, stat'i* [Koktebel shores: Poems, drawings, watercolors, articles]. Simferopol', Tavriya, 1990, 248 p.
- Vrangel' P. N. *Zapiski* [Notes]. URL: <http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/15.html> (accessed: 26.01.2021).
- Zazubrin V. Zametki o remesle [Notes on the craft]. In: Zazubrin V. *Obshchezhitie* [Dormitory]. Novosibirsk, Novosibirsk Publ. House, 1990, pp. 370–387.

## Сведения об авторе

Проскурина Елена Николаевна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН (Новосибирск, Россия)  
proskurina\_elena@mail.ru  
ORCID 0000-0003-2809-6780

## Information about the author

*Elena N. Proskurina* – Doctor of Philology, Principal Researcher at the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)  
proskurina\_elena@mail.ru  
ORCID 0000-0003-2809-6780